

Алексей Шмелев

Допустимо ли изучать русский язык?*

Статья Анны Павловой и Михаила Безродного «Хитрушки и единорог: Образ русского языка от Ломоносова до Вежбицкой», опубликованная в № 31 журнала *Toronto Slavic Quarterly*¹, производит довольно странное впечатление, так что полемизировать с ней затруднительно – тем более что в самой статье не разбирается ни один языковой пример и разговор рискует стать беспредметным. Однако мне представляется, что у читателей статьи может создаться превратное представление о реальной ситуации в современной российской лингвистике, и это заставляет меня написать комментарии к статье А. Павловой и М. Безродного.

Основной пафос статьи, сколько можно судить по не вполне четко построенному изложению, сводится к тому, что в современных исследованиях семантики русского языка тон задает направление, представителей которого А. Павлова и М. Безродный называют «неогумбольтианцами» и «сторонниками ГЛО» (указанная аббревиатура скрывает за собою так называемую «гипотезу лингвистической относительности», более известную как «гипотеза Сепира-Уорфа»). Мне неизвестны специалисты по русской семантике, которые аттестуют себя указанными способами; однако из текста статьи становится понятно, что основной мишенью для А. Павловой и М. Безродного оказываются исследователи, ставящие своей целью реконструкцию языковой картины мира и ее соотносению с особенностями культуры обслуживаемой этим языком (при этом речь в рассматриваемой статье идет исключительно о русском языке и русской культуре). В области изучения значения языковых единиц с последующей их культурной интерпретацией, вслед за

© А. Shmelev, 2011

© TSQ (<http://www.utoronto.ca/tsq/>)

* Автор считает своим приятным долгом поблагодарить Анну Зализняк и Ирину Левонтину за поддержку и ценные соображения, высказанные ими по прочтении этой статьи.

¹ А в № 32 этого же журнала опубликован английский перевод этой же статьи (*How to Catch a Unicorn? The Image of the Russian Language from Lomonosov to Wierzbicka*).

Анной Гладковой², можно выделить три направления, идейно и методологически связанные друг с другом: (1) Московскую семантическую школу интегрального описания языка и системной лексикографии, возглавляемую Ю. Д. Апресяном (МСШ); (2) Анна Вежбицка и ее коллеги, применяющие метод «естественного семантического метаязыка» (ЕСМ); (3) группа московских исследователей, которую Анна Гладкова называет «московская группа культурной семантики» (в некоторых других работах используется обозначение «новомосковская школа концептуального анализа»³). И действительно, именно указанные три направления в первую очередь рассматриваются и подвергаются критике в статье А. Павловой и М. Безродного⁴.

Правда, начинают А. Павлова и М. Безродный довольно изда-дека и с сюжета, не имеющего непосредственного отношения к лингвистике: они упоминают о некоторых постмодернистских акциях в современной России, в том числе о перформансе, заключавшемся в воздвижении «памятника русскому языку». Отметим осведомленность авторов: полагаю, едва ли кто-то из российских лингвистов обратил внимание на эту новость. Памятник, как сообщают А. Павлова и М. Безродный, представлял собою многогранник с известной цитатой из стихотворения в прозе Ивана Тургенева: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Соответственно, они переходят к рассмотрению этой цитаты и, характеризуя ее как проявление «лингвонарциссизма» (и даже как «классику лингвонарциссистского жанра»), обнаруживают его проявления и в других текстах и делают вывод, что именно «лингвонарциссизмом» объясняются и рассматриваемые работы по семантике русского языка.

Попытаюсь воспроизвести ход рассуждений А. Павловой и М. Безродного, хотя уследить за их ассоциациями не всегда легко. Неустранимый дефект современных исследований в рамках рас-

² Гладкова А. *Русская культурная семантика: эмоции, ценности, жизненные установки*. М., 2010. С. 13-18.

³ См., напр., Шмелев А.Д. Новомосковская школа концептуального анализа // *Научное наследие академика Ф. Ф. Фортунатова и современное языкознание*. Петрозаводск, 2004.

⁴ Между названными направлениями нет непроходимой границы, поэтому один и тот же автор может публиковаться в сборниках, принадлежащих к любому из этих направлений. Так, Ирина Левонтина, которую Анна Гладкова упоминает среди членов «московской группы культурной семантики», является одним их постоянных участников всех сборников МСШ, выходящих под руководством Ю. Д. Апресяна; печаталась она и в сборниках, посвященных применению ЕСМ.

смаатриваемых направлений, по мнению А. Павловой и М. Безродного, состоит в том, что их авторы некритически следуют за Э. Сепиром и особенно Б. Уорфом, не учитывая то, что доказательная база их построений давно опровергнута. Российские исследователи, кроме того, по утверждению А. Павловой и М. Безродного, столь же некритически воспринимают лингвистические работы Анны Вежбицкой и ее последователей, хотя на Западе они «производят впечатление анахроничных и маргинальных». Поэтому и работы российских исследователей направлены на изучение фантомов и не имеют никакой научной ценности.

В связи с гипотезой Сепира-Уорфа А. Павлова и М. Безродный указывают на «ошибочность представлений Уорфа о языке хопи... и ставшего хрестоматийным утверждения о многочисленных наименованиях снега в языке эскимосов» и выражают удивление, что «через десять лет после разоблачения этой выдумки» Е.В. Падучева «утверждает: "...В эскимосском языке есть много названий для снега"». По представлениям А. Павловой и М. Безродного, в западной лингвистике «к 1980-м гг. интерес к ГЛО угасает». На самом деле, именно начиная с конца 1980-х интерес к гипотезе Сепира-Уорфа заметно возобновился в связи с исследованиями в области когнитивной лингвистики. Можно упомянуть вышедшую в 1987 знаменитую книгу Джорджа Лакоффа *Women, Fire and Dangerous things: What categories reveal about the mind*⁵; но и в последующие годы не прекращался поток публикаций, прямо или косвенно посвященных обсуждению гипотезы Сепира-Уорфа.

Вернемся к примеру относительно наименований видов снега в эскимосских языках. Как кажется, его смысл заключался не просто в том, что таких наименований много (в английском языке, как указывали многие авторы, наименований видов снега можно насчитать не меньше), а в том, что в повседневной коммуникации используются именно они, а не родовое обозначение 'снег', даже если бы таковое и существовало. Различие между разными видами снега аналогично различию, которое английский и другие европейские языки (кстати, в том числе русский, как и другие языки «европейского стандарта») проводят между снегом и льдом: в них не используется «общий» термин 'замерзшая вода', хотя есть языки в которых снег и лед в повседневном общении не различаются. При этом, к сожалению, полемика о языке хопи и эскимосских языках часто

⁵ Lakoff G. *Women, Fire and Dangerous things: What categories reveal about the mind*. Chicago, 1987.

ведется людьми, имеющими об этих языках довольно отдаленное представление и тем самым невольно иллюстрирующими известный афоризм Козьмы Пруткина о тех, кто не зная «законов языка ирокезского», делает «по сему предмету» суждения. Поэтому существование гипотезы Сепира-Уорфа может быть иллюстрировано примером, который понятен носителям русского языка на основании их собственного опыта. Представляется очевидным, что зрительный аппарат носителей русского языка принципиально ничем не отличается от зрительного аппарата носителей других языков. Их способность различить разные оттенки цветов, обобщенно называемых *зеленым*, ничуть не меньше, нежели их же способность отличить желтый цвет от коричневого или синий от голубого. Тем не менее по отношению ко всем этим оттенкам они проводят абстракцию отождествления и не обинуясь используют всеобъемлющее прилагательное *зеленый*, но не назовут желтый предмет *коричневым* или синий – *голубым*. Как известно, в большинстве европейских языков в повседневном общении так же разграничиваются ‘желтое’ и ‘коричневое’, проводится та же абстракция отождествления оттенков ‘зеленого’, но отождествляются также ‘голубое’ и ‘синее’. В более «экзотических» (с точки зрения среднего европейца) языках различение и отождествление в области цвета иногда проводится совсем иным образом; понятно, что это свидетельствует не об особенностях физиологии, а о том, как «мыслятся» эти цвета при использовании соответствующих языков.

Попутно А. Павлова и М. Безродный указывают, что подход, характерный для тех, кого они называют «неогумбольдтианцами», встречался еще в сочинениях «лингвистов-славянофилов», и сетуют, что «ни Вежбицкой, ни ее последователям эта страница истории российской лингвистики не известна» (потому они и ссылаются только на Гумбольдта и Сепира-Уорфа). Здесь остается порадоваться, что это замечание⁶ высказано по адресу российских лингвистов не в те годы, когда оно прочитывалось бы как обвинение в низкопоклонстве перед Западом и могло бы повлечь за собою весьма неприятные последствия для тех, кому оно адресовано. Справедливым оно от этого, впрочем, не становится. Славянофилы внесли значительный вклад в историю русской мысли; некоторые из них

⁶ Кстати, замечание несправедливое. Скажем, в статье Ирины Левонтиной «Откуда есть пошла русская душа?» (<http://www.polit.ru/culture/2005/11/28/russoul.html>) разбирается история формирования мифа об особенностях «русской души» и наряду с немецкими источниками делаются ссылки на русских авторов, формулировавших стереотипы «русского национального характера».

оставили свой след и в истории лингвистики (учение Константина Аксакова о русском глаголе иногда упоминается грамматистами и в наше время); однако их соображения в области лингвистической семантики, как правило, довольно наивны. Не случайно и американские когнитивные лингвисты часто ссылаются на Сепира и Уорфа, реже на Гумбольдта и практически никогда на российских славянофилов⁷.

Оценку работ Анны Вежицкой как «анахроничных и маргинальных» приходится оставить на совести А. Павловой и М. Безродного (и, возможно, авторов, на которых они ссылаются). Эта оценка не является в западной лингвистике ни общепринятой, ни господствующей⁸. Впрочем, эта оценка может показаться еще довольно мягкой по сравнению с тем, что можно иногда встретить в околону научной русскоязычной печати⁹. Еще удивительнее то, что авторы относят Вежицку к поборникам гипотезы лингвистической относительности. Это трудно воспринять иначе как аберрацию: основное содержание лингвистических исследований А. Вежицкой заключается в поисках семантических универсалий, определяющих мышление всех людей и смысла того, о чем они говорят, каким бы языком они ни пользовались. Красной нитью через все ее работы проходит мысль, что, сколь бы лингвоспецифичной ни была семантика анализируемой языковой единицы, она может быть истолкована посредством единого универсального семантического метаязыка.

Но, как бы ни оценивать работы Б. Уорфа и Анны Вежицкой, неоспоримым остается следующее обстоятельство. Ни язык хопи, ни эскимосские языки не являлись родными ни для Э. Сепира, ни для Б. Уорфа; так что объяснить их лингвистические теории «лингвонарциссизмом» не удастся. Точно так же не являются родными языками Вежицкой ни английский язык (главный объект ее исследований, которому она специально посвятила свои последние по

⁷ При этом любопытно, что сами А. Павлова и М. Безродный почему-то не упоминают работы Л.В. Щербы, хотя учение о языковой картине мира восходит в первую очередь именно к его идеям.

⁸ Удивляет также, что А. Павлова и М. Безродный явно рассматривают «Запад» как некую важную инстанцию, которая раздает оценки, не подлежащие обжалованию.

⁹ Напр., «Вежицкая – талантливый филолог и кропотливый исследователь. Тем опаснее страшноватая каббалистика её семантических примитивов, когда бесстрастная констатация межъязыковых соответствий подменяется фанатическим поиском доказательств, удовлетворяющих русофобию» (Овсянников В.В. Американские проблемы в русском менталитете // Вісник СумДУ, 2006. № 11(95). Т. 1.)

времени работы¹⁰), ни русский язык. Это заставляет усомниться в том, что гипотеза «лингвонарциссизма» универсальна для объяснения внимания лингвистов к связи языка и культуры, которую этот язык обслуживает. Да и само понятие «лингвонарциссизма» в применении к научному исследованию чрезвычайно странно. Предполагает ли оно, что «лингвонарциссическим» следует считать любое изучение особенностей родного языка, и, скажем, внимание русского лингвиста к русской фонетике иначе как «лингвонарциссизмом» объяснить невозможно? Если нет, то почему «лингвонарциссическим» является изучение именно семантики и ее связи с культурой?

Переходя к работам российских исследователей, А. Павлова и М. Безродный делают еще более странные утверждения. Напр., они говорят, что «ГЛО в версии Вежбицкой была воспринята исследователями западнической складки как последнее слово мировой науки, и их воодушевление разделили неославянофилы», и резюмируют: «гумбольдтианская доктрина утвердилась в российском академическом языковедении благодаря как неославянофилам, так и неозападникам». Вообще говоря, «западнические» или «славянофильские» взгляды исследователя не должны влиять на его научную работу при условии минимальной добросовестности. Поэтому выделение среди лингвистов «неославянофилов» и «неозападников» может восприниматься как обвинение в научной недобросовестности, а такое обвинение неплохо бы аргументировать или хотя бы иллюстрировать. Увы, А. Павлова и М. Безродный этого не делают.

Чем дальше, тем текст статьи А. Павловой и М. Безродного становится все более загадочным. Они утверждают, что «поборников ГЛО» объединяет «преимущественный либо исключительный интерес к тем "концептам" (или "ключевым словам", или "ключевым понятиям", или "лингвокультурамам"), которые объявляются конститутивными для "русской ментальности" (или "русского менталитета", или "русской ЯКМ", или "русской модели мира")». Что такое «лингвокультурама», авторы не объясняют, полагая, вероятно, это самоочевидным. Однако очевидно только, что это какой-то термин, а содержание его остается неясным. Насколько я знаю, этот термин не встречается ни в работах Э. Сепира, ни в работах Б. Уорфа, ни в работах Анны Вежбицкой и ее последователей, ни

¹⁰ Wierzbicka A. *English: Meaning and culture*. Oxford, 2006; она же *Experience, Evidence, and Sense: The Hidden Cultural Legacy of English*. Oxford, 2010.

в работах российских лингвистов, принадлежащих к рассматриваемым направлениям. Станным представляется также скрытое отождествление «русской ментальности» и «русской языковой картины/модели мира». Выражение «русская ментальность» если и встречается в серьезных лингвистических работах, то только в качестве стереотипа, характерного для некоторых типов русского дискурса; что же касается до русской языковой концептуализации/картины/модели мира, то это объект, реконструируемый на основе семантического анализа языковых единиц и понимаемый как совокупность представлений о мире, которые язык навязывает¹¹ его носителям. В соответствии с пониманием «новомосковской школы концептуального анализа»¹² механизмы такого навязывания могут быть описаны следующим образом. Семантика языковых единиц включает разного рода «презюмции», т. е. представления о мире, которые при стандартном использовании данной единицы не попадают в ассертивный компонент высказывания и обычно проходят мимо внимания участников коммуникации (пресуппозиции, коннотации, фоновые компоненты значения). Так, если я употребляю оборот *как свинья* или *размером с вишню*, то едва ли кто-то предположит, что я думаю о свинье как об особо чистоплотном и ласковом животном или представляю себе выведенную Мичуринным гигантскую вишню. Если носитель русского языка услышит, что *сердце* кому-то нечто подсказывало, он не заподозрит, что речь идет о результате сложной интеллектуальной работы, а поймет эту фразу единственно правильным образом: обсуждаются мнения, к которым субъекта подталкивают чувства и интуиция (поскольку семантика слова *сердце* в русской языковой картине мира связана с эмоциональной составляющей психической деятельности). Су-

¹¹ Анна Вежицка в недавней статье, которую цитируют и А. Павлова и М. Безродный, заметила, что она бы предпочла говорить не «навязывает», а «подсказывает»: Вежицкая А. Имеет ли смысл говорить о «русской языковой картине мира»? (Патрик Серио утверждает, что нет) // *Динамические модели: Слово, предложение, текст*. М., 2008. С. 179; 185. По-видимому, ей кажется, что слово «навязывает» несет на себе некий отпечаток детерминизма. Но я полагаю, никто не думает, что языковая картина/модель мира лишает носителя языка свободы и возможности критически осмыслить представления, которые эту картину конституируют. Мне лично слово «навязывает» представляется более адекватным: в слове «подсказывает» мне видится ситуация, когда носитель языка стал в тупик перед выбором из некоторого множества альтернативных представлений и нуждается в подсказке со стороны; слово «навязывает» предполагает воздействие на подсознание, подобно тому как действует реклама (когда мы тоже вольны отказаться от того, что она нам «навязывает»). Впрочем, особого значения выбор слова здесь не имеет.

¹² Шмелев А.Д. Указ. соч.

щественно, что в процессе повседневной коммуникации на некотором языке презумпции чаще всего не ставятся под сомнение (хотя такое иногда случается в ходе метаязыковой рефлексии), а использование языковой единицы в противоречии с ее презумпциями вызывает возражения носителей языка. Когда газета «Известия» в 2004 инициировала дискуссию о том, на самом ли деле всегда скверно сообщать начальству о чьих-либо предосудительных действиях и открыла ее статьей, которая называлась «Спаси человечество могут только доносчики», то письма читателей продемонстрировали почти единодушное негативное отношение к доносительству¹³. Именно совокупность презумпций и задает языковую картину/модель мира. Современная семантика позволяет обнаружить, что во-первых разные единицы одного языка часто включают тождественные или схожие презумпции (такие презумпции можно назвать «сквозными мотивами» языковой картины мира), а во-вторых, что набор презумпций оказывается разным для разных языков. Так, в некоторых языках презумпции слов со значением 'сердце' показывают, что в соответствующей языковой картине мира сердце является источником не только чувств, но и способности к пониманию.

Однако А. Павлова и М. Безродный предпочитают говорить не о ясном понятии «языковая картина мира», а о неопределенных понятиях, не имеющих непосредственного отношения к лингвистике, таких, как, напр., «национальный характер». При этом они пытаются сделать вид, что никакой подмены здесь нет. Характерная цитата: «...коль скоро национальный язык, согласно ГЛО, формирует национальный характер, то сопоставление национальных языков есть одновременно сопоставление национальных характеров...». Откуда берется представление, согласно которому «национальный язык, согласно ГЛО, формирует национальный характер», не сообщается. Я не помню, чтобы в лингвистических сочинениях Э. Сепира и Б. Уорфа что-то говорилось о «национальном характере» и о том, что его формирует национальный язык; если А. Павлова и М. Безродный обнаружили такое утверждение, уместно было бы сделать ссылку, а не подавать его как нечто само собою разумеющееся.

Возможно, сознавая, что предложенная ими картина слишком плохо согласуется с действительностью, А. Павлова и М. Безродный

¹³ И даже в сталинское время, когда доносительство повсюду поощрялось, слова *донос* и *доносчик* сохраняли отрицательную окраску.

предлагают различать среди работ рассматриваемых направлений «полюса эссеизма и сциентизма». К эссеистике, насколько я понимаю, можно отнести статьи представителей «московской группы культурной семантики» которые публиковались в 1990-х и в начале 2000-х в журналах «Итоги», «Еженедельный журнал» и «Отечественные записки», и, в еще большей мере, блестящие эссе Ирины Левонтиной, составившие ее книгу «Русский со словарем»¹⁴. Удивляет лишь характеристика, которую дают этой «эссеистике» А. Павлова и М. Безродный: «пропагандируется идея русской исключительности». Ссылоч, понятно, опять нет. Вместо этого А. Павлова и М. Безродный начинают говорить о «лингвострановедческих» пособиях, адресованных иностранцам. По некоторой случайности одно из четырех пособий, поименованных в статье А. Павловой и М. Безродного, у меня есть; А. Павлова и М. Безродный относят эту книгу к «пособиям с говорящими заглавиями и подзаголовками»¹⁵, и есть все основания предположить, что, кроме заглавия и подзаголовков, они в этой книге ничего не читали. Во всяком случае могу заверить, что никакого отношения ни к лингвистике вообще, ни к рассматриваемым направлениям семантического анализа эта книга не имеет, и русского языка (кроме как в подзаголовке) она вообще не касается.

Для иллюстрации «сциентистского» полюса А. Павлова и М. Безродный цитируют высказывание Ю. Д. Апресяна: «В последнее время идея языковой картины мира была очень широко растиражирована и, к сожалению, измельчена. Некоторые авторы делают далеко идущие обобщения об этноспецифическом взгляде на мир и даже об особенностях национального характера на основе анализа нескольких изолированных примеров». Сообщив, что Ю. Д. Апресян предлагает «при определении "этноспецифичных" языковых единиц... руководствоваться таким критерием, как их непереводаемость столь же простыми единицами других языков, и принимать во внимание "меру этноспецифичности", которая тем

¹⁴ Левонтина И. Русский со словарем. М., 2010. Книга вышла из печати уже после публикации статьи А. Павловой и М. Безродного; однако вошедшие в нее эссе в течение ряда лет публиковались на сайте «Стенгазеты» (<http://www.stengazeta.net>), и А. Павлова и М. Безродный, несомненно, с ними хорошо знакомы. Другие авторы, принадлежащие к рассматриваемым направлениям, насколько я знаю, эссеистикой на тему «русская языковая картина мира» вовсе не занимались.

¹⁵ Речь идет о книге: Соловьев В. М. *Тайны русской души: Вопросы; Ответы; Версии: Книга для чтения о русском национальном характере для изучающих русский язык как иностранный*. М., 2002.

больше, чем большее число единиц языка выражает "ключевую идею" и чем более разнообразна их природа», А. Павлова и М. Безродный замечают: «Эти и подобные им предложения напоминают рекомендации по ловле единорога», – и предлагают посмотреть, «насколько состоятельна надежда» на выявление ключевых слов языковой картины мира «по приписываемым им признакам: включенность во фразеологизмы, высокая частотность и непереводаемость». Подмена кажется очевидной: во-первых, «меру этноспецифичности» Ю. Д. Апресян предлагал ввести для «ключевых идей», а не для «ключевых слов»; во-вторых, «включенность во фразеологизмы» и «высокая частотность» им не упоминались¹⁶.

Возможно, чувствуя недостаточность иллюстративной базы, А. Павлова и М. Безродный привлекают работы, далеко выходящие за рамки рассматриваемых направлений, – лишь бы в них упоминались «концепты», или «ментальность», или «картина мира», или «лингвокультура», или «этнопсихология». Оценить качество этих работ, не обращаясь к ним непосредственно, трудно, поскольку, как уже говорилось, А. Павлова и М. Безродный уклоняются от конкретного лингвистического анализа. Можно легко поверить, что многие из них характеризуются невысоким уровнем (именно такие работы имел в виду Ю. Д. Апресян, когда говорил об «измельчании» идеи языковой картины мира). Однако ни приводимые примеры, ни комментарии не позволяют судить об этом с уверенностью¹⁷. Скажем, А. Павлова и М. Безродный пишут, что некая не называемая ими «русская исследовательница, иллюстрирующая библеизмами свой тезис о том, что русские осуждают предательство и высоко ставят верность и чувство долга, забывает, что библеизмы не содержат в себе ничего специфически русского». Весьма вероятно, что в данном случае исследовательница действительно это забывает; однако следует учитывать, что среди библеизмов мо-

¹⁶ Справедливости ради следует заметить, что о частотности и включенности во фразеологизмы упоминает Анна Вежбицка в книге, посвященной «ключевым словам» разных культур (Wierzbicka A. *Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford, 1997). Однако она специально подчеркивает, что не придает этим параметрам решающего значения, поскольку самое главное для нее – можем ли мы сказать что-то важное о данной культуре на основании семантического анализа соответствующей единицы.

¹⁷ Более того, можно допустить, что в каких-то случаях мы сталкиваемся с полным непрофессионализмом или даже шарлатанством. Но возможное наличие таких публикаций не в большей мере компрометирует методы современной семантики, чем, скажем, публикация гороскопов, в которых встречаются слова «планета», «орбита», «созвездие», компрометируют астрономическую науку.

гут встретиться и лингвоспецифичные для языка-рецептора (а об этом, по-видимому, забывают А. Павлова и М. Безродный). Так, к числу библеизмов, которые получили специфичное преломление в русском языке, несомненно, относится слово *хам* и его производные (*хамство, хамить, хамский, хамло*)¹⁸ и отчасти слова *столпотворение* и *ирод*.

Дальше А. Павлова и М. Безродный осуществляют еще более удивительную подмену: они сообщают, что «неогумбольдтианцы» свои утверждения о важности для русской языковой картины мира тех или иных моральных императивов иллюстрируют паремиями. Вообще говоря, паремии плохо подходят в качестве инструмента для выявления особенностей языковой картины мира. Дело в том, что паремии употребляются в речи с разной степенью частоты; многие из них неизвестны рядовым носителям языка; их рекомендации часто противоречат одна другой; наконец, что самое важное, иллюстрируемые моральные императивы обычно содержатся в ассертивных компонентах паремий, а, как уже говорилось, языковую картину мира образуют не ассерции, а презумпции. Примечательно, что, как следует из дальнейшего текста, во многом из сказанного А. Павлова и М. Безродный отдают себе отчет и тем не менее они говорят, что «попыткам лингвистически обосновать стереотипы русской щедрости и немецкой прижимистости сопротивляются многочисленные русские пословицы, призывающие к бережливости, и многочисленные немецкие, осуждающие скупость». Остается совершенно непонятным, какое отношение факт существования таких пословиц имеет к лингвистическому обоснованию чего бы то ни было. Кроме того, А. Павлова и М. Безродный никак не поясняют, что они понимают под выражением «лингвистически обосновать стереотипы».

Загадочным представляется следующее замечание А. Павловой и М. Безродного: «Строго следуя логике ГЛО, иллюзорными нужно было бы признать также синонимию и билингвизм». В действительности дело обстоит ровно противоположным образом: именно обсуждение синонимических рядов и практики билингвов для многих исследователей служит важным свидетельством на-

¹⁸ Ирина Левонтина напомнила мне, что в стихотворении Льва Лосева «Один день Льва Владимировича» лирический герой в ответ на замечание американского слависта, что в «русском языке» нет слова *sophistication*, вспоминает непереводаемые русские слова: «Есть слово "истина". Есть слово "воля". / Есть из трех букв — "уют". И "хамство" есть. / Как хорошо в ночи без алкоголя / слова, что невозможно перевести, / бредя, пространству бормотать пустому».

личия в языковых картинах мира лингвоспецифичных идей. В течение многих лет в работе представителей МСШ важнейшее место занимал анализ синонимических рядов в рамках работы над «Новым объяснительным словарем синонимов русского языка»; выводы Анны Вежбицкой относительно лингвоспецифичности многих языковых единиц базировались среди прочего на интроспекции билингвов. Поэтому не соответствует действительности утверждение А. Павловой и М. Безродного, будто «о существовании лиц, владеющих несколькими языками, неогумбольдтианцы предпочитают не вспоминать»; напротив, опыт билингвов занимает центральное место в аргументации представителей рассматриваемых направлений. Комментируя высказывание, согласно которому билингвы владеют сразу двумя языковыми картинами мира, А. Павлова и М. Безродный саркастически замечают: «Случаи сосуществования у одного лица более чем двух ЯКМ этим автором не упоминаются и, надо надеяться, не зафиксированы». Странная надежда. Безусловно, известны люди, хорошо говорящие на трех языках, и это свидетельствует о том, что человек может владеть тремя языковыми картинами мира и в нужный момент переключаться с одной на другую. Замечание А. Павловой и М. Безродного сродни тому, как если бы они сказали, что невозможно владеть фонетическими системами двух или трех разных языков (хотя действительно люди, выучившие второй язык не в раннем детстве, часто говорят на нем с акцентом).

Данное заблуждение А. Павловой и М. Безродного особенно странно, поскольку они живут в окружении неродного языка. Трудно поверить, чтобы они никогда не сталкивались с несовпадением и немецкой и русской языковых картин мира. Неужели они не замечали, что слово *praktisch* в рекламных объявлениях плохо переводится на русский язык¹⁹, что требование к человеку, которого назвали *Freund*, отличается от требований, которые русские привыкли предъявлять к *другу*, а человек, сообщающий по-русски, что ему назначили *Termin*, просто оставляет немецкое слово без перевода и т. д.?

¹⁹ В одном из эссе из серии «Ворчалки о языке» Ирина Левонтина пишет: В немецких магазинах женской одежды русское ухо поражает частота, с которой звучат два слова – *praktisch* и *günstig*. Конечно, русское *практичный* не вполне тождественно немецкому *praktisch*, а русское *дешевый* тем более отличается от немецкого *günstig*, но все же трудно представить себе русскую даму, которая, примеряя в магазине нарядное платье, одобрительно восклицает: "Дешево и практично!"»

Возможно, недоразумение связано с тем, что А. Павлова и М. Безродный плохо понимают сущность понятия «языковая картина мира». Упрощенно дело можно представить следующим образом. Каждый человек располагает какими-то представлениями о мире, которые составляют его индивидуальную картину мира. Эта картина мира не является объектом лингвистики. Напротив того, языковая картина мира выявляется посредством лингвистического анализа и, как уже говорилось, представляет собою совокупность презумпций единиц соответствующего языка. Если человек в совершенстве владеет семантикой соответствующих единиц, значит он владеет и языковой картиной мира (или ее релевантным фрагментом).

На практике люди, пытающиеся говорить на иностранном языке, часто знают его не в совершенстве и используют иностранное слово в соответствии с презумпциями, которые имеет аналог этого слова в родном языке. Иногда это приводит к забавным результатам. Так, в соответствии с презумпциями, которые слово *adventure* имеет в американском английском, это слово часто используется в рекламе. Один из «слоганов», используемых в рекламе некоего автомобиля, был переведен на русский язык как «Наполни свой день приключениями!» Нет необходимости комментировать, как этот слоган был воспринят русской аудиторией. Конечно, можно говорить, что мы имеем дело всего лишь с переводческой неудачей; однако сам факт этой неудачи показателен и как будто свидетельствует, что языковая картина мира не является фикцией. Может оказаться так, что коммуникативной неудачи не возникает – если по каким-то причинам семантический сдвиг, происходящий при переводе, оказался нерелевантным. Так, русское прилагательное *уютный* часто можно передать посредством голландского слова *gezellig*; однако это не отменяет того факта, что русский *уют* среди прочего ассоциируется у носителей русского языка со шторками на окнах, а голландское *gezelligheid* скорее связано с представлением о чисто вымытом окне без занавесок.

Аргументы А. Павловой и М. Безродного, касающиеся принципиальной возможности перевести все, что говорится на каком-либо одном языке, на любой другой язык, также основаны на некоторой подмене. Не обсуждая вопрос о том, насколько достижима полная точность перевода, замечу, что все же следует различать ситуации, когда перевод не составляет проблемы, и ситуации, когда он требует переводческих ухищрений, а «наивный» перевод

может повести к коммуникативному провалу. В некоторых случаях построения А. Павловой и М. Безродного ставят меня в тупик. Так, они пишут: «...в зависимости от того, какие именно значения многозначного слово *пошлый* актуальны для того или иного сообщения, это слово переводится на немецкий как *kitschig, ordinär, vulgär, gewöhnlich, geschmacklos, niveaulos, spießig, primitiv, kleinkariert, engstirnig, beschränkt, anzüglich, schlüpfzig* либо как их комбинация». Неужели они думают, что проблема здесь именно в многозначности переводимого слова и каждому из значений соответствует строго один перевод: одно из приведенных слов или их комбинация?

Дальнейшие рассуждения А. Павловой и М. Безродного могут показаться пародийными. Приходится оперировать обширными буквальными цитатами из их статьи, потому что невозможно (или, по крайней мере, очень трудно) поверить, что написанное ими написано всерьез. Цитирую: «Какая бы ситуация несовпадения языков ни рассматривалась российскими неогумбольдтианцами, ей полагается свидетельствовать о превосходстве русского языка над другими». На основании чего «полагается», не сообщается. Но само предположение, что цель лингвистического исследования может состоять в том, чтобы продемонстрировать превосходство какого-либо языка, вызывает в памяти статьи некоторых советских идеологов, объявлявших, что учение о родстве индоевропейских языков направлено исключительно на то, чтобы обосновать превосходство белой расы²⁰. Далее написано буквально следующее: «Если для перевода, например, слова *пошлость* приходится пользоваться одним из его контекстуальных синонимов, это демонстрирует бес-

²⁰ Кстати, и гипотеза Сепира-Уорфа объявлялась расистской. Ср.: «...уже в конце 20-х годов он [Сепир] все более сближается с представителями расистской этнопсихологии, а такие его ученики, как Б. Уорф, используют структурные особенности некоторых языков Америки для откровенной расистской пропаганды. ... Нам это "развитие" взглядов Сепира представляется весьма характерным для того пути, который проделала за эти годы официальная американская лингвистика, все определеннее становящаяся на путь служения империализму. ... Утверждения, подобные тому, что "грамматика сама является творцом идей", "программой и проводником индивидуальной умственной активности", оказались лишь орудием расовой пропаганды о преимуществах народов, говорящих на языках "европейского стандарта"... Так "ученый", "специалист по языкам американских индейцев", ученик и последователь Сепира Б. Уорф путем подтасовки языковых фактов, путем схоластических ухищрений с "языковыми моделями" ведет открытую расовую пропаганду» (Гухман М. М. Э. Сепир и «этнографическая лингвистика»: Об одной из реакционных концепций в современном американском языкознании // *Вопросы языкознания*, 1954, № 1). Эти утверждения могут считаться убедительными примерно в той же мере, что и те, которые предложили нам А. Павлова и М. Безродный.

прецедентную емкость русской лексемы. Если ситуация противоположна, а именно: некое понятие выражают большим количеством русских слов и небольшим – нерусских, это служит доказательством беспрецедентного богатства русского лексикона». С тем же успехом фонетист мог бы сказать, что использование в области русского вокализма меньшего числа фонологически значимых признаков по сравнению с французским вокализмом, свидетельствует о «беспрецедентной емкости» русских гласных, а использование признака твердости-мягкости согласных, нерелевантного для французского языка, служит доказательством «беспрецедентного богатства» русского консонантизма. Кроме того, рассуждение можно и перевернуть: «Если одному русскому слову в переводах соответствуют разные, это свидетельствует о бедности русского лексикона; если одному иностранному слову соответствуют разные русские слова, а общего слова в русском языке нет, это свидетельствует о неспособности русских к абстрактному мышлению». В таком рассуждении столько же логики, что и в рассуждении, которое изобрели (и почему-то приписали российским лингвистам) А. Павлова и М. Безродный, – проще говоря, логики я в нем не вижу.

Затем А. Павлова и М. Безродный возвращаются к критериям выделения «ключевых слов». Они отмечают, что среди русских существительных «*судьба*» занимает только 181-е место, тогда как, например, *дело* находится на 4-м, и идиом с *делом* куда больше, чем с любым из признанных ключевых слов». При этом они не сообщают, пользуются ли собственными подсчетами или используют данные словарей (тогда следовало бы сообщить каких). Любопытно, что они забывают о собственном призыве учитывать многозначность: слово *дело* имеет в «Малом академическом словаре»²¹ 14 значений, и подсчет частотности по каждому из этих значений в отдельности привел бы к снижению рейтинга. Дальнейшее рассуждение в очередной раз поставило меня в тупик, поскольку А. Павлова и М. Безродный пишут: «Однако *дело* в отличие от слов *судьба*, *удаль* и *авось* ключевым считаться не может – это противоречило бы "лингвокультурологическому" учению о склонности русских к созерцательности». Они не поясняют смысл используемого ими прилагательного "лингвокультурологический"; по-видимому, это прилагательное к слову «лингвокультурология», но что они под этим понимают, остается неясным. Можно было бы полагать, что это дисциплина, изучающая язык и культуру в их взаимодействии, как

²¹ Словарь русского языка. Т. 1. М., 1981.

это делают в области советской культуры Гасан Гусейнов, а, скажем, в области народной культуры – С. Е. Никитина; сюда же можно было бы отнести описания особенностей стилей коммуникации и речевого этикета²². Кажется, впрочем, что А. Павлова и М. Безродный используют слово «лингвокультурология» как еще один синоним «неогумбольдтианства» и «ГЛО». Но в любом случае не удастся выяснить, где они обнаружили «"лингвокультурологическое" учение о склонности русских к созерцательности»²³. Тем более непонятно, что препятствует отнесению слова *дело* к числу «ключевых»: вероятно, оно таковым как раз является (по крайней мере в некоторых значениях). Тот факт, что оно пока не было объектом детального семантического анализа, скорее всего объясняется тем, что реконструкция русской языковой картины мира находится в начальной стадии, и анализу подверглись лишь немногие слова – а именно, те, для которых наличие нетривиальных презумпций было особенно очевидно. Следующая фраза тоже не очень понятна: «Несолидно было бы считать ключевыми *матрешку* и *самовар*, т. е. слова действительно неперебиваемые (отчего их и не "транслируют", а транслитерируют), так что остается настаивать на неперебиваемости слов *удаль* и *авось*». Статус критерия «несолидности» также не объяснен (в английском переводе «несолидно было бы» передано как “it would be considered as unprofessional”). Обычно лингвисты исходят из представления, восходящего к известной фразе Бодуэна де Куртенэ относительно того, что для лингвистического анализа слово *жопа* ничем не хуже слова *генерал*. По существу же надо пояснить, что слова, обозначающие артефакты, могут быть весьма интересны для концептуального анализа²⁴ и лингвоспецифичны (ср. наличие в русском языке слова *щип* для обозначения

²² См., напр., подробное сопоставительное исследование прагматики извинения Р. Ратмайр (Rathmayr R. *Pragmatik der Entschuldigungen: Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur*. Köln usw., 1996) или совсем недавнюю книгу: Ларина Т. В. *Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставительное исследование английских и русских лингвокультурных традиций*. М., 2009.

²³ Мне, кстати, было любопытно, как прилагательное «лингвокультурологический» переведено на английский язык. В полном соответствии с моими ожиданиями выяснилось, что слово просто опущено в переводе, в котором сказано просто: “the alleged tendency of Russian people towards contemplation.” Впрочем, вопрос, где обнаружили А. Павлова и М. Безродный источник указанных allegations, этим все равно не разрешается.

²⁴ В классической книге о концептуальном анализе Вежицка одну из четырех глав целиком посвятила словам *bike* и *car* – см. Wierzbicka A. *Lexicography and conceptual analysis*. Ann Arbor, 1985.

капустного супа или слова *чайник* в значении, соотносимом с *kettle*). Правда, слова *матрешка* и *самовар* редко употребляются в современной речи в прямом режиме (больше как условный символ «русскости»). В этом отношении слова *удаль* и *авось* на них как раз похожи; по-видимому, именно поэтому они сразу привлекли внимание лингвистов, которые редко использовали их в собственной речи и были способны взглянуть на них «отстраненно».

Далее А. Павлова и М. Безродный упрекают сторонников учения о языковой картине мира в «вере в стереотипы». Здесь опять происходит смешение понятий. Значит ли этот упрек, что А. Павлова и М. Безродный вообще отрицают существование стереотипов (и, в частности, этностереотипов)? Представляется, что об их существовании свидетельствуют разнообразные данные, в том числе языковые. Так, по-русски естественно говорить о *чисто немецкой пунктуальности*, но странно – о *чисто русской пунктуальности* или о *чисто немецкой бесшабашности*²⁵. Может быть, А. Павлова и М. Безродный отрицают правомерность изучения стереотипов? Но такое ограничение на допустимую область научного исследования кажется весьма странным. Возможно, они отвергают гипотезу о том, что эти стереотипы могут иметь лингвистическое происхождение (по крайней мере, в некоторых случаях)? Но тогда разумно было бы предложить альтернативное объяснение.

Между тем гипотеза о лингвистических источниках стереотипов во многих случаях представляется весьма правдоподобной. Так, известен стереотип, согласно которому русские постоянно говорят и думают о душе²⁶. Кажется, что этот стереотип коррелирует с тем, что слово *душа* действительно относительно частотно в русских текстах и во многих контекстах не может быть переведено на другие языки буквально. Механизм действия или даже возникновения стереотипов хорошо иллюстрирует следующая история, рассказанная Верой Белоусовой: «Недавно я наблюдала любопытную сцену. Дело происходило на прощальной вечеринке по случаю отъезда московского математика, проработавшего в нашем университете несколько месяцев. Один из здешних профессоров задал ему очень типичный и эмоционально нейтральный вопрос: “So, were

²⁵ См.: Плунгян В. А., Рахилина Е. В. «С чисто русской аккуратностью...» (к вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке) // *Московский лингвистический журнал*. 1996. Т. 2.

²⁶ Именно этот стереотип положен в основу известного анекдота о русской женщине, которая, проведя ночь с любовником, говорит ему: «А душу мою, Федя, ты так и не понял».

you happy in Athens?" (буквально: "Ну и как, вы были счастливы в Афинах?"). Гость удивленно пожал плечами и ответил так: "Well... What's happiness?.. I was satisfied" (буквально: "Н-ну... Что есть счастье?.. Я был доволен"). После чего они с недоумением уставились друг на друга. Я почти уверена, что знаю, что происходило в эту минуту у каждого в голове. "С какой же легкостью эти американцы бросаются словом „счастье“!" – думал русский. "Как же русские любят разводить философию на пустом месте!" – думал американец. Что-то в этом роде, во всяком случае. А между тем все было значительно проще. Американское "happy" как раз и значило "вам понравилось?", "вы довольны?" – о счастье как таковом там речи не шло»²⁷.

Приведу еще одно наблюдение Веры Белоусовой, свидетельствующее, что различие презумпций у эквивалентных, казалось бы, выражений не фикция, а реальная проблема для межкультурной коммуникации: «...возьмем, к примеру, систему похвал. Во множестве американских фильмов есть какая-нибудь такая сцена: ребенок сообщает кому-нибудь из родителей о хорошей отметке за контрольную. И этот родитель, персонаж, в целом простой как правда, говорит в ответ что-нибудь вроде: "I am so proud of you!" На первый взгляд это значит именно то, что значит, но когда тот же персонаж в русском дубляже говорит: "Я так горжусь тобой!" – это немедленно начинает порождать дополнительные смыслы. То ли родитель оказывается патологически высокопарным, то ли у ребенка были какие-то неслыханные проблемы, о которых нам почему-то не сказали. Между тем ничего этого нет. Эта похвала, по сути

²⁷ Белоусова В. *Lost in translation* // *Новый мир*, 2011, № 2. Точно так же стереотип гордого поляка (*кичливого ляха*), вероятно, связан с той важностью, которую *honor* (заимствованное в русский в виде *гонор*) имеет в польской языковой картине мира. Известны многочисленные примеры стереотипов, возникающих из-за несовпадения правил речевого этикета и прагматики речевой коммуникации, приводятся множеством авторов – см., напр. Виссон Л. *Русские проблемы в английской речи Слова и фразы в контексте двух культур*, М., 2007; Ларина Т. В. Указ. соч. Сказанное не означает, что все этностереотипы возникают именно вследствие расхождения языковых картин мира. Лингвистические источники этностереотипов могут даже иметь чисто фонетическую природу; так, стереотип медлительности эстонцев, вероятно, связан с наличием в эстонском языке долгих и сверхдолгих слогов, с продолжительностью пауз в стандартной эстонской речи. Кроме того, многие стереотипы, по-видимому, имеют нелингвистическое происхождение: стереотип, касающийся пристрастия русских к выпивке, хотя и поддерживается языковыми данными (напр., частым употреблением уменьшительно-ласкательных суффиксов при обозначении выпивки и закуски: *водочка, селедочка, огурчики, грибочки*), но скорее всего имеет неязыковой источник.

дела, гораздо ближе к русскому “умница!”, чем к выражению гордости. Со словом “умница”, в свою очередь, все не так просто. “„Умница” – это „умный человек”?” – спрашивают меня студенты, когда видят или слышат где-нибудь это слово. “И да и нет, – говорю я. – Умного человека можно назвать умницей, но в большинстве случаев „умница” значит скорее „well done!””. Вообще интересно, что русские похвалы часто адресованы человеку (“молодец!”, “умница!”), а американские – произведенному им действию (“well done!”, “good job!”). В книгах о воспитании детей под это подведена теоретическая база, но на самом деле это изначально заложено в самом языке».

В свете всего сказанного лишними кажутся комментарии по поводу деталей, в которых А. Павлова и М. Безродный, по-видимому, вообще не отдают себе отчета. Надо ли уточнять, что языковая картина мира (понимаемая как система презумпций) различна для разных видов дискурса (напр. советской газеты, научной статьи и церковной проповеди), подвержена региональному и временному варьированию (картина мира американского английского не полностью совпадает с картиной мира австралийского английского; что касается до временного варьирования, можно заметить, что изменения в постсоветском русском языке по большей части могут быть описаны как изменения в языковой картине мира)? Надо ли в очередной раз повторять, что различие между картинами мира разновидностей одного языка, обслуживающих разные субкультуры, может быть больше, чем межъязыковые различия, и что, напротив того, часто обнаруживается значительное сходство между культурно сходными фрагментами языковых картин мира разных языков?²⁸

Кратко коснусь лишь некоторых моментов, которые могут вызывать недоразумения. Прежде всего, это касается общего вопроса соотношения языка и мышления, а также языка и культуры. Надобно сказать, что большинство представителей рассматриваемых направлений предпочитает не предаваться теоретизированию на этот счет, а сосредоточиваться на семантическом анализе конкретных языковых выражений. Но в целом можно сказать, что они в большей степени привержены представлению об имманентности лингвистики, нежели многие когнитивисты или психолингвисты.

²⁸ Более подробно все эти вопросы рассматриваются в книге: Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. *Ключевые идеи русской языковой картины мира*. М., 2005.

В качестве доказательств наличия в семантике языковой единицы того или иного семантического компонента обычно принимаются собственно языковые свидетельства (языковая правильность предложения, его реальное использование в речи), а не результаты психолингвистических или нейропсихологических экспериментов. Что касается до связи языка с культурой, то и она далеко не прямолинейна. Ясно, что многое в культуре непосредственно с языком не связано. С другой стороны, языковая картина мира может изучаться сама по себе, безотносительно к особенностям культуры, которую этот язык обслуживает²⁹; но в некоторых случаях связи языка и культуры настолько очевидна, что попытка отрицать ее вопреки этой очевидности производила бы впечатление полной неадекватности³⁰.

В статье А. Павловой и М. Безродного чрезвычайно настойчиво обсуждается вопрос о критериях выделения «ключевых слов». Между тем особой роли эти критерии не играют, поскольку, как уже говорилось со ссылкой на А. Вежбицку, самое главное – можем ли мы сказать что-то важное о данной культуре на основании семантического анализа соответствующей единицы. Вообще говоря, необходим семантический анализ всех языковых единиц без исключения. Если семантика какой-либо единицы содержит нетривиальные презумпции относительно устройства мира, то эти презумпции могут рассматриваться как часть соответствующей языковой картины мира. Если какая-то презумпция повторяется в значении разных языковых единиц данного языка, то она принадлежит к числу «сквозных мотивов» языковой картины мира. Часто оказывается, что эти «сквозные мотивы» могут рассматриваться как дающие ключ к каким-то важным особенностям соответствующей язы-

²⁹ Едва ли не в большинстве работ, выполненных в рамках МСШ, экскурсов в культуру нет. Ср. также книгу, которая знаменовала собою начало нового этапа изучения русской языковой картины мира, была посвящена лингвоспецифичным словам русского языка (напр., *далеко, вдали, вдалеке, недалеко, неподалеку, близко, поблизости*), но не касалась соотнесения соответствующих фрагментов русской языковой картины мира с культурными особенностями: Яковлева Е. С. *Фрагменты русской языковой картины мира. Модели пространства, времени и восприятия*. М, 1994.

³⁰ Так, русский глагол *тыкать* 'обращаться на *ты* к человеку, которого правила речевого этикета требуют именовать на *вы*' выражает отрицательную оценку соответствующего речевого поведения и отражает тот факт, что русский речевой этикет в определенных ситуациях требует обращения на *вы* (а не *ты*). Одновременно он «навязывает» носителям русского языка представление о недопустимости неуместного использования формы *ты*. В английском языке соответствующее разграничение (обращение на *вы* и *ты*), как известно, не проводится и поэтому глагол *тыкать* трудно переводим на английский язык.

ковой картины мира, а возможно, и культуры, обслуживаемой данным языком. Соответственно, их можно отнести к числу «ключевых идей» языковой картины мира, а слова, содержащие такие презумпции, – к числу ее «ключевых слов». Таким образом, выделение «ключевых» слов не может предшествовать семантическому анализу: оно является его результатом³¹.

«Ключевые слова» часто оказываются трудно переводимыми, поскольку в иностранном языке трудно найти эквивалент, содержащий в точности те же презумпции (разумеется, перевод возможен, когда презумпциями можно пренебречь). Заметим, что неоднословные переводы не спасают дело, поскольку у свободных словосочетаний нет собственных презумпций. Если для слов, выражающих некоторую презумпцию, нет простых переводов в большинстве других языков, то соответствующая презумпция оказывается лингвоспецифичной, причем степень лингвоспецифичности тем выше, чем больше слов, трудно поддающихся переводу, ее выражают.

Критерий частотности здесь играет вспомогательную роль. Для языковой картины мира существенны в первую очередь употребительные слова; если какая-то единица встречается в речи редко, то и невелик и «удельный вес» презумпций, которые она содержит. Так, для картины мира современного русского языка едва ли важную роль играют нетривиальные презумпции слова *целомудрие*.

Выше уже говорилось, что частотность слова *душа* в русской речи, возможно, является одним из источников стереотипа 'русские все время думают и говорят о душе'. Приведем еще в качестве примера русское слово *судьба*, тем более что А. Павлова и М. Безродный высмеивают наблюдение А. Вежбицкой: «...В корпусе современного русского языка частотность слова *судьба* – 230 на миллион слов, а в корпусе современного французского языка частотность *destinée* – 27 на миллион слов». Они комментируют это высказывание следующим образом: «Иначе говоря, слово *судьба* предлагается считать высокочастотным в русской речи (а значит, ключе-

³¹ В книге Зализняк и др. Указ. соч. проанализировано около 300 лексических единиц (из них более 200 – русских); в книге *Языковая картина мира...* анализу подвергнуто (как можно судить по лексемному указателю) – более 2500 единиц, из них более 2400 – русских. (Уж не знаю, являются ли эти единицы «ключевыми» по критериям А. Павловой и М. Безродного.) Напрасно мы ждали бы от А. Павловой и М. Безродного критического разбора или уточнения проведенного анализа: они предпочитают рассуждать в общем ключе, т. е. ни о чем.

вым для понимания мировоззрения русскоязычных) только потому, что слово *destinée* в речи франкофонов употребляется реже». Почему «иначе говоря»? Смысл высказывания А. Вежбицкой несколько иной: она полемизирует с Патриком Серио, который говорит, что слово *судьба* ничем не отличается от *destinée*. Вообще говоря, более удачными французскими аналогами для слова *судьба* я бы считал *destin*, *lot* и *sort* (хотя я понимаю, что, в отличие от Патрика Серио, я не являюсь носителем французского языка). По-видимому, такое же впечатление создалось и у А. Павловой и М. Безродного; отсюда их комментарий: «Непонятно..., почему сравниваются именно *судьба* и *destinée*, а не вообще русские и французские слова с соответствующей семантикой... Это было бы тем более желательно, что *судьбе* как слову ключевому не полагается иметь переводных эквивалентов». Это можно было бы считать единственным дельным замечанием в их статье, но ответ на их недоумение прост: сравниваются *судьба* и *destinée*, потому что Серио предложил в качестве эквивалента для слова *судьба* именно слово *destinée*. А вот что значит выражение «не полагается иметь переводных эквивалентов», непонятно уже мне. «Ключевые» слова (т. е. слова с нетривиальными презумпциями), как и любые другие, могут иметь аналогии в других языках; у этих аналогов не будет в точности того же набора презумпций, но они могут использоваться для перевода, если эти презумпции несущественны для содержания сообщения.

Любое содержательное обсуждение русского слова *судьба* должно учитывать, что это слово имеет по меньшей мере два значения: (1) 'таинственная сила, управляющая жизнью человека' (*рок*); (2) 'то, что какую форму приобретает жизнь человека' (*доля, участь*); кроме того, это слово часто употребляется в составе устойчивого оборота *не судьба*, проанализированного В.Ю. Апресян³². Именно частотность слова *судьба* иногда приводит к появлению стереотипного представления о «фатализме» русских. При поверхностном взгляде может создаться впечатление, что Вежбицка сама находится в плену этого стереотипа, не учитывая того, что «фаталистичное» первое значение как раз не очень частотно. Но, во-первых, носители стереотипов обычно не проводят семантического анализа и разбиения на значения: стереотип может поддерживаться самим фактом частотности слова, на котором стереотип базиру-

³² Апресян В.Ю. Семантика и прагматика судьбы // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды международной конференции «Диалог 2006» (Бекасово, 31 мая – 4 июня 2006 г.). М., 2006.

ется. Во-вторых, А. Вежбицка никогда не придавала большого значения таким ярлыкам, как «фатализм»: они не являются элементами «естественного семантического метаязыка» и не используются в толкованиях. Наконец, идею, отчасти родственную «фатализму» можно усмотреть в обороте *не судьба*, хотя, конечно, точнее говорить о нем как о формуле «примирения с действительностью», относящейся к числу сквозных мотивов русской языковой картины мира.

Можно ли описать все названные явления, не прибегая к понятию «языковая картина мира»? По-видимому, можно; характерно, что, за исключением упомянутой выше статьи³³, А. Вежбицка это понятие практически не использует (соответствующее сочетание она упоминает только в цитатах из Ю. Д. Апресяна). Кстати, не пользуется она также и понятиями «пресуппозиция», «коннотация» и т. п., не являющимися элементами ЕСМ (соответствующие смыслы в ЕСМ выражаются оборотами «все люди знают...», «многие люди могут сказать...»). Однако очевидно, что критика в статье А. Павловой и М. Безродного относится вовсе не к терминологии и что ЕСМ Вежбицкой и Годдарда их также не устраивает.

Подчас возникает впечатление, что А. Павлова и М. Безродный попали под влияние дешевой публицистики на тему «русской исключительности» и «особого пути» (для меня так и осталось неясным, всегда ли они считают изучение родного языка проявлением «лингвонарциссизма» или это касается только российских лингвистов – в силу «исключительного» положения русского языка). При этом А. Павлова и М. Безродный как-то не обращают внимание на тот очевидный факт, что русский язык принадлежит к языкам «европейского стандарта» и, как следствие, имеет с другими языками «европейского стандарта» гораздо более общих черт, нежели различий. По-видимому, инструментарий семантического анализа, который был известен во времена Б. Уорфа, вообще не позволял обнаружить какие бы то ни было различия языковых картин мира разных языков «европейского стандарта», и лишь методы современной семантики позволили некоторые из таких тонких различий выявить. К настоящему времени из языков «европейского стандарта» больше всего мы знаем об английской, русской и польской языковых картинах мира, да и в отношении этих языков сведения далеко не полны. Но и того, что мы знаем, довольно, чтобы с уверенностью говорить, что ни о каком «особом» месте русского языка

³³ Вежбицка А. *Имеет ли смысл...*

на фоне других европейских языков говорить нет оснований (точнее, есть черты, присущие только русскому языку, но, вероятно, то же самое можно сказать о любом другом языке).

Характеризуя методы Вежицыной и ее российских коллег, А. Павлова и М. Безродный пишут: «мишень рисуется вокруг вонзившейся стрелы». Но, как мы видели, стрелы, выпущенные в статье А. Павловой и М. Безродного, либо просто улетают куда-то вдаль, либо поражают изобретенные ими же фантомы, а сама статья оставляет чувство досады и недоумения³⁴.

Мне трудно сказать, насколько недовольство А. Павловой и М. Безродного положением дел в современной российской лингвистике можно рассматривать как один из многочисленных примеров ламентаций на тему «раньше было лучше». Нам сообщают, что по сравнению с советским временем и уровень жизни упал, и с нравственностью дело обстоит не лучшим образом, и грамотность снижается, и язык портится, и, как теперь оказывается, и лингвистика зашла куда-то не туда. Мне же вспоминаются знаменитые строки Алексея Толстого, написанные почти 140 лет тому назад:

Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой!

About Autor

Алексей Шмелев – профессор кафедры русского языка Московского педагогического государственного университета, заведующий Отделом культуры русской речи Института русского языка Российской академии наук.

Alexei Shmelev is Professor of Russian Linguistics at Moscow Pedagogical State University and head of Department of Linguistic Standards of Russian at the Institute of Russian Language, Russian Academy of Sciences. His work spans a number of disciplines including cultural studies and linguistics. He is the author of numerous books.

³⁴ Анна Зализняк написала мне после прочтения статьи А. Павловой и М. Безродного: «[статья] меня огорчила сильнее, чем я ожидала... Если такой умный и образованный человек, как Безродный, нам не поверил, то чего ждать от других».